

В. Коробов

«Еще раз выверяя свою жизнь...»

<...>

Шукшин, несомненно, знал и разделял во многом методологическое, основополагающее для русской литературы высказывание Л. Толстого:

«Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения».

Для действий и положений сюжет необходим как воздух. В результате — декларации остаются декларациями, а проза позднего Толстого в большинстве случаев еще более сюжетна, нежели прежде. Шукшинское же отрицание сюжета приводит к повести-сказке «До третьих петухов» — к сюжету необычному, фантазмагоричному, но по многим параметрам — сказка есть сказка, и здесь при всех новшествах многое остается, и должно оставаться, традиционным, в чем-то строго регламентированным — сюжету определенному, закономерному и куда более выстроенному, нежели в рассказах. Но это идет отнюдь не во вред, а на пользу: «описывая образы, действия, положения» — и самые невероятные, — Шукшин высказывает многие заветные свои мысли, свободно предается рассуждениям и размышлениям, передает волнение, добивается непосредственности чувств — перед нами *сцепление*, «собрание мыслей, сцепленных между собою».

«До третьих петухов» — выступление полемическое. Шукшин откровенно полемизирует со своими критиками. Шукшин говорит «свое слово» в диспуте о типологии и судьбе народного характера.

Об этой повести-сказке (впрочем, вряд ли это произведение можно уложить в привычные рамки какого-нибудь жанра) трудно говорить однозначно. Ясно, что вещь эта очень своеобразная, именно шукшинская, и сатирическая. Видно и другое: в ней начался новый, не очень-то привычный и знакомый Шукшин. Куда же и к чему шел художник?

Если иметь в виду лишь одну особенность творческого развития Шукшина — усиление сатирического направления, он продолжал с блестящим художественным мастерством осуществлять то, к чему и стремился все эти годы и что с такой мудрой простотой подмечено в теоретических размышлениях о сатире другим большим русским художником — Андреем Платоновым:

«Забавность, смехотворность, потеха сами по себе не могут являться смыслом сатирического произведения: нужна еще исторически истинная мысль и, скажем прямо, просвечивание идеала или намерения сатирика сквозь кажущуюся суету анекдотических пустяков».

Отнюдь не потеха и не суета анекдотических пустяков запечатлены в повести «До третьих петухов», где так тесно переплелись сказка и быль, литература, фольклор и жизнь. Это высшего порядка сатира — остросоциальная, жгуче современная и глубоко философская. По некоторым признакам она сродни «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Франсуа Рабле, «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова.

В самом общем — и главном! — смысле «До третьих петухов» — это гимн простому человеку-труженику, утверждение истинных нравственных и культурных ценностей и одновременно непримиримый бой с воинствующим самодовольным мещанством, скрывающим свое «мурло» под самыми разными личинами; и критика вредных, отсталых, неприемлемых подлинным художником взглядов на литературу и искусство.

В статье «Монолог на лестнице» Василий Шукшин публицистически страстно негодовал:

«Ничего так не пугает, не удивляет в человеке, как его странная способность разучить несколько несложных житейских приемов (лучше — модных), приспособить разум и руки передвигать несколько рычажков в огромной машине Жизни — и все, баста. И доволен. И еще хлопывает по плечу того, кто пока не разучил этих приемов (или не захотел разучить), и говорит снисходительно: “Ну что, Ваня?”»

Против такой вот «странной способности» — потребительского, бездумного отношения к жизни и направлена повесть-сказка «До третьих петухов». Кто же, как не мещане-потребители, нравственные уродцы — и молоденькая библиотекарша, и секретарша Милка, так варварски коверкающие прекрасный и могучий русский язык! А вся компания Алки-Несмеяны? А черти?.. Не в бровь, а в глаз бьет художник, когда показывает во всей «красе» духовное их ничтожество, нигилизм, высмеивает их культ вещей, низкопоклонство перед «модерном», западной поп-культурой. И совсем ведь не в шутку, а сурово, гневно и в то же время горестно звучат слова Ивана, обращенные к секретарше Мудреца, Милке: «...ты решила, что я — шут гороховый. Что я — так себе, Ванек в лапоточках... Тупой, как ты говоришь. Так вот знай: я мудрее всех вас... глубже, народнее. Я выражаю чаяния, а вы что выражаете? Ни хрена не выражаете! Сороки. Вы пустые, как... Во мне суть есть, а в вас и этого нету. Одни танцы-шманцы на уме. А ты даже говорить толком со мной не желаешь. Я вот как осержусь, как возьму дубину!..»

У одних на уме лишь «танцы-шманцы», другие же заняты «делом». Вот Баба Яга с дочкой, уж как они только не хлопочут: и о «коттеджике» помышляют, и о выгодном замужестве, и о внешности своей пекутся... Этими «сказочными» образами Шукшин обличает тех, кто живет обманом, любит, как говорят в народе, чужими руками жар загребать. Лицемерие таких «литературных героев» не имеет пределов, каждый раз, в зависимости от обстоятельств, напяливают они на себя новые и новые маски (вспомним все злоключения Ивана в избе Бабы Яги).

Не имеют пределов и ханжество их, и жестокость. Эти черты олицетворяет в повести Змей Горыныч. Нет, не так прост он, как кажется. Этот персонаж не прочь поиграть в эдакого «душку», добренького и отзывчивого «ценителя искусств», мецената, и даже слезу может пустить при случае. У него и, с позволения сказать, «философия» своя имеется. Вот, скажем, какое художественное произведение ему угодить может? Только такое, в котором тишь да гладь да конец непременно «счастливый». А что не так, то «дурная эстетика». И попробуй поспорь с ним, начни доказывать, что из песни слова не выкинешь, — враз зубы покажет, мерзкую свою пасть разинет.

Но пожалуй, пострашней змея будет Мудрец. Горыныч, как ни старайся, образину свою скрыть не может, из-за этого его даже «свои» — Яга с дочерью — боятся. Мудрец же — благообразен, в обращении обходителен, сердится, ножками топает и то не без изящества. Тем труднее разглядеть истинное его лицо. Впрочем, некоторые черты этого героя должны нам быть знакомы по произведениям классиков, ибо образ этот типический и даже нарицательный, Шукшин же привнес в него нечто свое, особенное. Этот персонаж — «мудрец» (хочется написать — делец или, «для рифмы», — подлец) не от чего-нибудь, а от науки или искусства, так сказать, «теоретик». Никакой он, конечно, не мудрый, но и не дурак, а напротив. Насчет своих действительных знаний он, будьте уверены, никаких иллюзий не питает. Но, боже его избави, признаться в этом. Мудрец настолько привык пускать пыль в глаза, витийствовать, употреблять словечки и обороты вроде «вульгар-теория», «моторная и тормозная функции», что делает это, наверно, и тогда, когда остается наедине с самим собой. Ну а как же! Иначе все увидят, что король-то голый.

Живется ему легко и уютно, совесть не мучит, атрофировалась за ненадобностью, а интересы давно сосредоточились на чревоугодничестве и сладострастии. Но все бы ладно, если б не зависело от него ничего. Ан нет. Какая-никакая, а он все же инстанция (даже

с печатью), и дела есть, которые решать надо. Но до них ли, когда Алка-Несмеяна губки надула. Работа не волк, пусть себе делается, не важно, что вкривь и вкось, на то он и Мудрец, что при любом обороте «базу» подвести может. А если в упор кто спросит, как Иван, по простоте своей и невоспитанности, то на безмерную занятость можно посоветовать: мол, устаю, голубчик, дурья твоя голова, а дела-то во-о-н какие непростые. Мудрец мещанин в высшей степени, он загнил в своем паразитизме дальше некуда — смрад.

Создав этот образ, пожалуй, самый сильный и причудливый в повести-сказке, Шукшин вновь подтвердил, что он не только изумительный мастер слова, глубокий психолог, знаток человеческих душ, но и подлинный бескомпромиссный художник, никогда не искавший в творчестве легких, исхоженных дорог.

Анализ некоторых сторон шукшинской «Сказки про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума» дал в своей статье «Фантастическое в современной прозе (фантастика как элемент реализма)» Юрий Селезнев. Он же хорошо показал связь этого шукшинского произведения с русским фольклором и классической русской литературой.

«...В “наивном образе” [Ивана-дурака], созданном народной фантазией, не так уж и мало реальности.

Если люди разных эпох, задумываясь над проблемами жизни, времени, над судьбами народными, не просто упоминают образ, но, постигая его, пытаются осмыслить и разрешить мучащие их вопросы — то так ли наивен, только ли забавен сам образ? Так ли уж нереально он фантастичен? И не заключена ли в нем глубокая бытийная философия, мудрость, современная, может быть, и в нашей с вами эпохе?

Едва ли не в каждом народном образе, в его порою скрытом для нас, реалистов, подспуде, таится удивительная созидательная сила, которую Пришвин называет легендой или сказкой. “Легенда как связь распадающихся времен — вот единственно *реальная* в свете сила. Сказка — это связь приходящих с уходящими”.

И не случайно писатели начинают обращаться к фольклорным образам, открывая в них не только философскую глубину, но и широту, связующую времена.

Ну а что же беснующиеся в сказке Шукшина “До третьих петухов” черти? И они — не произвольная придумка автора, но тоже одно из древнейших порождений народной фантазии, емкое бытийное обобщение, прочно вошедшее в наш обиход. Привычный образ русской сказки — темная, враждебная человеку и миру разрушительная (но умная) стихия (“нечистая сила”) вошла в сознание нашего народа и уже в древний период стала традиционным литературным персонажем. Вспомним этот образ в “Повести о путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим”, в “Повести о Савве Грудцыне”, в пушкинской “Сказке о попе...” и его же философски трагическое истолкование в стихотворении “Бесы”... Происходит как бы постепенное накопление возможностей и проявлений внутри единого по сути образа. Каждое последующее конкретное его воплощение как бы потенцирует в себе и все известные предшествующие.

В отмеченном характере подобной традиционности образов уже заключена способность “соединять времена”.

Я вовсе не хочу сказать, что в конкретном воплощении сказки “До третьих петухов” ее автор сумел создать образ, включающий в себя и то, что было достигнуто в этом плане Пушкиным, Гоголем, Достоевским и т. д. Нет, конечно же здесь нужно говорить скорее о весьма ощутимых утратах. Но традиционный образ живет еще и как бы своей особой жизнью — в опыте читателя, невольно подключающего данный конкретный образ к тем его воплощениям, которые уже сложились в его сознании».

Ю. Селезнев приводит в своей статье следующую известную дневниковую запись М. Пришвина (она прямо-таки «просится» в разговор о шукшинской сказке):

«Начинаю еще яснее видеть себя, как русского Ивана-дурака, и удивляться своему счастью, и понимать — почему я не на руку настоящим счастливым и хитрецам.

У меня такого ума-расчета, чтобы себе самому было всегда хорошо и выгодно, вовсе нет. Но, если все-таки существую, и не совсем плохо, это значит, что в народе есть место и таким дуракам».

...У шукшинской сказки есть вполне явственные переключки со знаменитой толстовской «Сказкой об Иване-дураке и его двух братьях...» Можно предположить также, что Шукшину была известна (и каким-то подспудным образом учтена) следующая дневниковая запись Софьи Андреевны Толстой:

«Сказки и типы, как, например, Илья Муромец, Алеша Попович и многие другие, навели его (Льва Николаевича) на мысль написать роман и взять характеры русских богатырей для этого романа. Особенно ему нравился Илья Муромец. Он хотел в своем романе описать его образованным и очень умным человеком, происхождением мужик, и учившийся в университете. Я не сумею передать тип, о котором он говорил мне, но знаю, что он был превосходен».

Но эти и другие переключки и истоки — тема уже специального, но отнюдь не «чисто» типологического исследования.

Повесть-сказка «До третьих петухов» открыла новые горизонты творчества Шукшина, и бесконечно жаль, что мы можем теперь лишь догадываться, узнавать лишь исподволь — какими они могли быть...

<...>